

■ серия ■
«самое время!»

ИВАН АЛЕКСЕЕВ

ХОЛОДА В ЗАНЗИБАРЕ

Повесть, рассказы

МОСКВА 2019



УДК 821.161.1-3
ББК 84(2=411.2)6
А47

Оформление

Валерий Калныньш

Алексеев, И. К.

А47 Холода в Занзибаре : повесть, рассказы / Иван Константинович Алексеев. — М. : Время, 2019. — 352 с. — (Самое время).

ISBN 978-5-9691-1828-7

Земную жизнь пройдя до середины и дальше, можно ли не помнить ту часть пути, которая была «до»? Для каждого это самое «до» — свое. Для кого-то перестройка, для кого-то эмиграция или поворотные события. Книга рассказов Ивана Алексеева — кстати, врача по профессии — ведет нас в «до» — в забытое, затоптанное в глубину памяти. Первая любовь, первые данные себе обеты, первые победы. Первые измены и похороны. А первые, выстраданные, вымечтанные джинсы «Супер-Райфл»? А первая зеркалка с телевиком? А тусовка на Стрите или Калинке? А судьбы, горькие, кровавые, тех, кого уже нет — но кого забыть невозможно? Пронзительно подобранное слово писателя открывает нам ключ к жизням героев, в каждой из которых русский читатель кожей ощущает что-то близкое.

ББК 84(2=411.2)6

ISBN: 978-5-9691-1828-7



© Алексеев И. К., 2019
© «Время», 2019

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОКТОРА НЕСВЕТОВА*

ПОВЕСТЬ

Жить в эпоху свершений, имея возвышенный нрав,
к сожалению, трудно. Красавице платье задрал,
видишь то, что искал, а не новые дивные дивы.
И не то чтобы здесь Лобачевского твердо блюдут,
но раздвинутый мир должен где-то сужаться, и тут —
тут конец перспективы.

И. Бродский. Конец прекрасной эпохи

* Все совпадения с названиями лечебных и религиозных учреждений, фамилиями, должностями, а также прочие совпадения — совершенно случайны. — *Здесь и далее примеч. автора.*

В 99-м День благодарения пришелся на 25 ноября. Из Москвы позвонила Бета, Берта Александровна, институтская мама-на подруга. Всякий раз, получив от нее открытку, я старался ответить вживую — звонком. Приглашал в гости — пожить в тепле с названными внуками, но она так и не собралась. Умер Леня, сказала она. Леня — мой отец.

Если бы не мама — урна с ее прахом хранилась у отца в шкафу в обувной коробке, — от поездки на родину я бы воздержался.

Чуть больше года назад летел на кардиологический конгресс из Вашингтона в Барселону. Когда взлет сделался пологим и я расслабленно ожидал выключения надписи «fasten seat belts», самолет резко затормозил, кивнул и устремился вниз. За черным ночным иллюминатором в противоестественной тишине, закрываясь в жгуты, свистел воздух. Падение длилось меньше минуты: двигатели заработали снова — надежно и мощно, самолет задрал нос, свист смикшировался в привычном балансе шумов. На возвратном пути вскоре после взлета почувствовал нехватку воздуха. Лоб взмок. Ничего, Чапай выплывет! Разгерметизация? От нее

погиб со товарищи космонавт Волков, именем которого называлась улица, где я когда-то жил. Но кислородные маски из потолка не выпали, пассажиры спокойно дремали на своих местах. Число дыханий соседа в одну минуту — 14. Против моих 26. Причина одышки — в голове. Пережить тот полет мне помогла стюардесса с татуировкой дракона на загорелом предплечье — она по-матерински накрыла мою руку ладонью и что-то ласково зашептала в ухо. Теплый запах ее духов, рок-н-роллы Джерри Ли Льюиса в наушниках, приличная порция скотча привели мою вегетативную нервную систему в более или менее рабочее состояние. Рита, русский психолог из Киева, чем-то неуловимым напоминала мне Вику — может быть, сочетанием карих глаз с прямыми, до плеч, натуральными пшеничными волосами, а может, жестом, когда, задумавшись, отставив мизинец, ровными белоснежными зубками полировала ноготь на большом пальце. И лет ей было столько же, сколько тогда Вике, — около тридцати. Чапаев выплыть не мог, полагала Рита, потому что в Советском Союзе все видели, как он утонул. Его следовало заменить Джеймсом Бондом, который выкручивается из самых невероятных передраг, на худой конец — Иваном-дураком. Секрет фокуса остался нераскрытым: аэрофобия оказалась случайным эксцессом? Или гештальт завершило письмо, написанное мною по заданию Риты и адресованное неудачнику Игорю Несветову, топтавшему землю шестнадцать лет назад?

Панические атаки как будто прекратились.

В Шереметьеве морозный воздух обжег легкие. Сотовый на местные частоты не реагировал. На такси под песни из тюремного радиоузла отправился в Митино. Трава вдоль шоссе была слегка припудрена снегом. Успел к концу цере-

монии. В зале прощаний висел туман от дыхания немногочисленных провожающих и приторного дыма из кадила. Из обитого красным ситцем гроба торчал длинный белый нос отца. Рыжебородый священник с тощей косичкой, набранной из волос, обрамлявших лысину, подымил кадилом, прогундосил молитву и неожиданно задернул лицо покойника саваном, избавив меня от фальшивой обязанности прощания, — прощать было нечем. Если б в душе осталась хотя бы щепотка тепла! Но там, где когда-то вольготно помещался пропахший гуталином, табаком и одеколоном отец, — уличный холод и дверь нараспашку. Гроб уехал в печь.

Прежде я узнал шубейку из черного каракуля, уже заметно потертую, и только потом саму Бету — она превратилась в аккуратную старушку с прямой спиной. Какой ты стал взрослый, Игорек, Сонечка была бы счастлива. Она говорила, поглаживая рукав моей куртки, и сквозь маску возраста постепенно проступали черты, которые я помнил и любил. Как ты легко одет, у нас морозы. Я обнял старушку и на мгновение почувствовал под шубкой хрупкое и жалкое тепло ее одинокой стародевичьей жизни. Ты решил, где остановишься? Твоя комната свободна.

Такси пристроилось в хвост к ритуальному автобусу. Ехали на космонавта Волкова, в ту самую квартиру, где мной были прожиты первые восемь московских лет и откуда студентом, вскоре после смерти мамы, я сбежал к Бете, когда отец тяжело запил. Он возвращался со службы, напяливал полосатую пижаму и все вечера проводил на кухне — один локоть на столе, другой на широком подоконнике. Ему тогда было под пятьдесят, почти столько же, сколько сейчас мне. Орала радиоточка. За немьтыми стеклами открывался вид на ржавые гаражи

и железную дорогу. Шипели в снежной жиже машины, завывали электрички, тяжело переваливались через стык товарняки. Посуда в ободранном буфете позванивала. Отец наполнял стакан водкой, глядел в пространство, мерцал серыми водянистыми глазами, не поморщившись, выпивал. Ел и пил он на газетах, а бутылки, пустые консервные банки, пригоревшие сковородки составлял на подоконник, который я хотя бы раз в три дня старался привести в порядок.

Бета, привалясь ко мне плечом, продолжала поглаживать мою руку и что-то рассказывала — слова пролетали мимо сознания, от звука ее голоса по спине бежали уютные мурашки, как бывало от любимой сказки на ночь. Все мое детство отец пытался сделать из меня настоящего солдата и очень заботился о том, чтобы мне было легко в бою. С утра тащил в ванную под ледяную струю, мучал зарядкой, заставляя приседать с гантелями. Мы жили тогда под Архангельском, в Мирном, в двух шагах от Плесеца, где строился секретный космодром. По выходным отец устраивал маршброски на лыжах по снежной целине в самые лютые морозы — кроме нас и отмороженных охотников, на лыжи никто не вставал. Ничего, Чапай выплывет! — ободрял он, когда мне становилось совсем неважно. На телячьи нежности в нашей семье был наложен строгий запрет. Пришлось уйти в подполье — мамины прикосновения, поцелуи, нежные словечки доставались мне только в отсутствие отца. К счастью, два раза в неделю он возвращался со службы к ночи, а иногда уезжал в командировки. Во все прочие вечера оба подпольщика надевали непроницаемые лица, заговорщицки перемигивались за спиной деспота и коротко — поворовски — обнимались в темноте коридора.

Как взлетают ракеты, я не видел — запуски начались позже, когда мы с мамой перебрались в Москву, а отец стал навещать нас наездами.

В девятом я категорически заявил, что собираюсь в медицинский и ничего *ни с кем* обсуждать не намерен. Серые глаза отца, растерянные, а потом загоревшиеся обидой и возмущением, расфокусировались. С этого дня он перестал меня замечать, не интересовался моими успехами, даже результатами в самбо, пропускал мимо ушей вопросы, но впадал в неистовство, если я забывал вынести помойное ведро или не вернул сдачу после магазина.

По коридору, оклеенному темно-зелеными обоями, между кухней и большой комнатой озабоченно сновали пожилые незнакомые женщины — накрывали стол. Им мешали тела близких и друзей покойника. Скопом доставленные автобусом, они сразу наполнили тесные помещения скорбным гулом, шуршанием и скрипом старого паркета. Коридорная вешалка не справлялась, одежду сваливали в моей бывшей комнате на диван, занявший после моей женитьбы место кровати с панцирной сеткой. Двухтумбовый письменный стол на тонких высоких ножках доживал свой век на прежнем месте — я перешел в десятый, когда мы с мамой купили его в комиссионке на Большой Академической. Сейчас на нем стояли две полковничьи папахи из серого каракуля.

Видишь, какое у нас горе, Игорек, сказала невысокая толстая женщина в черном платке, навалилась на меня животом и уткнула отекавшее заплаканное лицо в мою грудь. Надя, моя мачеха, была на десять лет старше меня и на пятнадцать лет младше отца. Он женился в один год со мной. На своих днях

рождения, которые по инерции я все же посещал, отец непременно поднимал за Надю бокал с минералкой как за свою спасительницу. Как он мучился! Надя, не наводя зрачки на резкость, взглянула на меня снизу вверх и снова уткнулась в мою грудь. Что такое рак толстой кишки с метастазами в печень, я хорошо представлял. Как Леша не хотел надевать крестик! А надел, и стало легче. У отца, которого помнил я, религиозности было не больше, чем у моей голой египетской кошки. Он ведь крещеный был, ты знал? Я сочувственно сжал Надины плечи и, понимая, что подходящего момента потом может и не случиться, сказал: давай, пока не сели за стол, я заберу мамину урну? Надя отпрянула, вскинула круглое бледное лицо, взгляд ее прояснился. И еще наш фотоальбом. Ну вот, сказала она, выбрал время! Совсем стал нерусский. Извини, сказал я, что порчу тебе... И осекся: «торжество» было не самым подходящим словом. Надя повернулась ко мне спиной, передернула плечами, поправила черный платок с бахромой и, широко расставляя плоскостопые ноги, покачиваясь, как пингвин, заковыляла в коридор.

Теплых воспоминаний в своем ближнем кругу, судя по тостам, отец не оставил. Говорившие не стеснялись казенных слов. Над столом как будто сгустилась неуютная и жалкая, с привкусом вины, неловкость перед покойником оттого, что тот не дал повода для любовных и искренних речей. Помочь развеять неловкость могла только водка. И вдруг — зачавкало, забулькало, зазвенело. Когда рюмка отца, покрытая куском черного хлеба с ломтиком селедки, ни с того ни сего опрокинулась, старичок с седой головой на тонкой шее, торчавшей из полковничьего мундира, сказал: вот, это он за нас выпил, за живых! Леша не пил! — подчеркну-

ла свою роль в трезвости отца Надя. Капли в рот не брал! А теперь можно! Жены-то рядом нет! Старичок, довольный собой, махнул полную рюмку, втянул щеки, задумчиво погонял по деснам протезы. Может, там теперь его... девы ласкают, сказал он важно.

Я не спал уже больше суток, если не считать тяжелой самолетной дремы. Мы заранее уговорились с Бетой, что она выберет момент, когда ей станет плохо. Протиснулись между стеной и шеренгой занятых стульев, отыскивали в куче одежду. Синий чемодан с ярлыком авиакомпании на ручке стоял на задних лапах, как суслик в степи. Расхлябанный замок из квартиры не выпускал — прокручивался. Мои зубы сжались с такой силой, что зашумело в ушах. В коридор из большой комнаты, включив застолье на полную громкость, пингвином выкатилась Надя. Навалилась плечом на дверь, пощелкала собачкой — та поддалась. Ты, Игорек, не обижайся, мы ее на дачу вывезли, сказала она, провожая нас к лифту. Колеса чемодана гулко стучали по плитке. И альбом. Лет десять назад. Как-то это все... неприятно... если дома... в общем, сам понимаешь... Когда лифтовые створки съезжались, выкрикнула: А Леша тебя часто вспоминал!

Такси не было. 23-й трамвай как ни в чем ни бывало ходил по прежнему маршруту и был того же красного цвета. Вагон так же скрежетал на поворотах, так же раскачивался — приходилось хвататься за поручень и придерживать чемодан. Дежавю: как будто никуда не уезжал, и завтра к восьми на работу, под лучи жесткой радиации отторжения и отчужденности. Лишь изредка карманный фонарик улыбки осмелевшего коллеги пошлет тайный сигнал поддержки и сразу погаснет. В ладони фантомная боль пустоты — при-

людные рукопожатия умерли, остались тайные, без свидетелей.

Пространство полупустого вагона заливал тот же ознобный безжизненный свет, от которого свербит в желудке, на стеклах лежал тот же грязно-матовый налет изморози. Бета, продышав черную дырочку, прояснила ее перчаткой: нескладный. И повторила: нескладный. Неловкий, шершавый весь какой-то... Бета затянула паузу, но слово «хороший» она все-таки произнести не решилась. И понять его можно, осторожно подбирала слова Бета, я вот, например, понимаю — война. Первый признак старости — стремление все помирить в прошлом, подружить кошку с мышами. Он воевал, а я немка. *Профессор в сбитой на ухо хирургической шапочке сидит за большим столом, заваленном бумагами, протезами сердечных клапанов и деталями от искусственного сердца — любимой игрушки. Выброшенная вперед раскрытая ладонь останавливает у двери — расстояние даже без свидетелей имеет значение. Думаю, тебе известно, э-э-э, — тягостное совестливое заикание советского интеллигента, — как поступают в такой ситуации благородные люди? Да, кивает Игорь Несветов, благородные люди увольняются.*

Невозможный труд: после стольких лет разлуки найти верное слово, которое хоть в малой степени сумело бы выразить мою любовь к этой трогательной старушке. Выручали прикосновения — в ответ на них бледный пергамент Бетиных век благодарно утягивался в орбиты, открывая серые глаза с красными паутинками по склерам. Благородные люди покупают в трамвае билет, подумал я. *Могу предложить, э-э-э, ставку старшего лаборанта в экспериментальном отделе. Это означало ссылку из клиники в ви-*

варий. Пойдешь? На собаках Игорь Несветов наработал весь материал для кандидатской и навсегда незащищенной докторской — собачьего лая за восемь лет он наслушался. Сможешь набивать руку, говорит профессор, темка прежняя — ортотопическая пересадка печени. А Сонечку он любил, продолжала Бета, я видела. Это меня — терпел. Но терпел же! Ради Сонечки!

Когда трамвай, вереща железом, выкручивался из-под моста на Волоколамку, а до Беты оставалось всего три полноценных остановки, я опознал в теле мелкую дрожь. Лоб покрылся бисером испарины. С чего бы? Рухнула глюкоза? Маловероятно — только чтопил сладкий кисель, ел кутью, оливье, блины с селедкой и икрой. Дыхание частило, губы свернулись трубочкой, сердце неслось вскачь — касс в вагоне не было, только компостеры!

Игорь опаздывал в институт и, как назло, у него закончился «единый». В жаркий момент спора рефлекторной подсечкой из самбо он уложил контролера на 43-м маршруте троллейбуса. Два мента затолкали его в воронку и доставили в обезьянник с облупленными зелеными стенами, где судорожно вспыхивала и никак не могла разгореться лампа дневного света. Мент, что помоложе, с оттопыренными ушами над пустыми погонями (на лацкане его кителя шипела рация) вошел в обезьянник и теперь весело толкал студента кулаком в грудь. Он молодецкато подпрыгивал, как боксер на ринге, и, скосбочив лицо улыбочкой, предлагал: Ударь! Ударь меня, сука! А вот и еще статья! — радостно вскрикивал он, когда Игорь успевал отразить кулак. Наконец предложение было принято — мент рухнул в нокауте. Сразу сбежались, повалили на пол. Били долго — всем отде-

лением. Когда уставали — менялись, а отдохнув, снова принимались за дело.

Сейчас войдут, скрутят, отберут синий паспорт! Выручать — некому! Рита, узнав о моем трамвайном страхе, наверняка воскликнула бы: Oh my god! Тебя все еще терзают тоталитарные демоны! Взмолился, хватая ртом воздух: Беточка, возьми мне билет! Бета, застенчиво прикрыв беззубый рот черной перчаткой, улыбнулась: я сегодня богатая, откупимся! И смущенно добавила, всматриваясь в черную дыру в оконном инее: прости, Игоряша, у меня зубной протез сломался.

Часы на руке показывали время восточного побережья. На потолке лежала тень — крест оконного переплета. Спросонья забыл, что надо делать — прибавлять восемь или отнимать? Накануне, бросив чемодан в прихожей, я сразу отрубился, едва рухнул на диван. Встал, отдернул занавески. Ртутные фонари золотили пустынный асфальт улицы. На монументально темневшем фасаде генеральского дома светились два окна — на втором и шестом.

Выключатель света рядом с дверным косяком привел в действие машину времени. Письменный стол у окна пребывал в музейной неприкосновенности: под стеклом, покрывавшим столешницу, все еще продолжался 1983-й. Пожелтевший календарь пестрил кружками вокруг дат, восклицательными знаками, стрелками: «ОВИР 11.00», «архив → 14.00!», «М.С.»... Михаил Соломонович, раввин Хоральной синагоги на улице Архипова, без знакомства с которым у меня не было бы ни единого шанса. Красный будильник с колокольчиком на макушке, похоже, свои ше-

стеренки не тратил со времени моего отъезда. С обоев смотрели прикнопленные Юл Бриннер в черной шляпе и Збигнев Цибульский в темных очках, Битлы по зебре гуськом переходили Abbey Road. Эти фотокопии я вывез с Волкова, сбежав к Бете после ссоры с отцом. Когда спустя десять лет в эту комнату вошла Вика, Збышек понимающе отвел взгляд, а Юл удовлетворенно сдвинул колышком шляпу на затылок. Битлы лохматых голов не повернули.

Над столом на книжных полках вечным сном спали безнадежно устаревшие книги по медицине (в эмиграцию, опасаясь перегруза, захватил только «Оперативную хирургию» Имре Литмана, небольшую книжечку «Пересадка жизненно важных органов в эксперименте», оттиски своих статей и самодельную брошюрку со стихами Мандельштама). Стиснутый солидными томами, в щель стеснительно выглядывал худенький корешок «Ангела на мосту» Чивера, из которого Игорь тогда успел прочитать только два или три рассказа (в предотъездной горячке забыл его вернуть Вике). Прямоугольный шкаф, стоявший у другой стены, по-прежнему сиял псевдоореховой полировкой — в ней мутно отражалась Вика, когда собиралась уходить. Вот только что она раскованно ходила по комнате голой, но, одеваясь, всегда просила отвернуться. Над диваном висел тот же красный ковер, косивший под персидский, на который Игорь булавками прикреплял листочки с английскими идиомами и неправильными глаголами. В фарфоровую китайскую вазу на журнальном столике перед приходом Вики он опускал три белых гвоздички. Вика цветам радовалась, но с собой не уносила. Хотя, на мой взгляд, ничего криминального в них не было, всегда можно было сказать, что подарили пациенты.

В коридоре было тихо, Бета еще не вставала. Я лежал одетым поверх белья на диване. На фасаде генеральского дома вспыхнули одно за другим три окна — будто сыграли до-ре-ми. Окна Гафуровых выходили во двор, только кухня смотрела на улицу Алабяна. В первый раз Игорь появился в той огромной квартире в начале второго курса с пудовой «Кометой-209» — переписывать пластинки. На паркет огромного коридора падал свет из гостиной, где поблескивала сумрачным хрусталем огромная горка. Потолки были так высоки, что Гуля казалась лилипуткой. От матери она унаследовала отчаянно маленький рост и пышный бюст, который носила с некоторым вызовом. А об уникальном тридцать третьем размере ее ноги знал весь курс. Гулин отец разоблачал происки империализма в телевизоре, поэтому с пластинками и джинсами у Гули проблем не было. Первый поцелуй случился на скользком кожаном диване, когда переписывалась песня Маму Blue (я только потом узнал, как это переводится).

Гуля переметнулась к Игорю от патлатого гитариста, игравшего на басу в «Пляске святого Витта», личности на потоке популярной. Его раздолбайству Игорь противопоставил заботу и опеку: ночами стоял за билетами на Таганку; чтобы набашлять на кафе, разгружал вагоны на Киевской-Сортирочной. Занимал место в аудитории и очередь в столовке. Предупредительно зажигал спичку, когда она зубками выхватывала сигарету из пачки (Игорь не курил). Страдая от бессмысленно растроченного времени, он торчал с ней на институтских сачкодромах, где Гуля упражняла свой острый язычок — при всей округлости форм, она топорщилась углами. Тараторила со скорострельностью калаша — любую ее резкость или бестактность тотчас извиняла смешливая луно-

образная татарская мордашка с живыми зелеными глазками. Игорь вдруг почувствовал, что у него появилось *право*. Стоило гитаристу приблизиться, расправляя плечи и молча выносил Гулю, болтавшую в воздухе импортными сапожками, из курилки. Как ни странно, это ей нравилось.

Количество перешло в качество на даче школьного товарища — еще из Мирного — Кости Смирнова. Он учился на физтехе, в отличие от меня, был любвеобилен и опытен и уверял, что «они» хотят точно так же, как и мы. Игорь сомневался. Приехали под ночь, вышли на тускло освещенную платформу в зябкий звездный воздух. По поселку Костя шел впереди, подсвечивая дорогу фонариком. Садовые домики, брошенные до весны, горбатились ломаными крышами в корявом кружеве яблоневых ветвей. Фонарик метался в темноте, зажигал мертвые окна. Подруга Кости, в памяти оставшаяся без имени, в самоотрочных расклешенных брючках в обтяжку и с тонкой хипповой косичкой у виска (с вплетенной синей ленточкой), превосходила Игоря ростом. Гуля едва доставала ей до груди. Девушка держала Гулю за одну руку, мне была доверена другая. Еще в электричке девушки стремительно сдружились. Судя по обрывкам фраз, долетавшим до Игоря, когда девушка склонялась к Гулиному уху, а потом, изогнувшись подставляла свое, обсуждались подробности интимной жизни с Костей.

Маленький домик был выстужен. К отсутствию комфорта Гуля, девочка из генеральского дома, неожиданно осталась равнодушна. На терраске дымила, разгораясь, печка. Костина подруга чистила картошку, Игорю выпало кромсать хлеб, колбасу, лук, открывать консервы. Гуля, выкурив сигарету, набрасывалась на него сзади с поцелуями и кусала в затылок.

Костя зажал на гитаре спичкой седьмую струну, подкрутил колки и выдал благозвучное арпеджио. Пили из мутных граненых стаканов. Музыкантов я опасался, точнее преимущества, которым они беззастенчиво пользовались, и ревниво следил за реакцией Гули. От выпитого портвейна подташнивало. После того как проорали хором «Дом восходящего солнца», началось Костино соло: медленную «Мишел» сменила «Облади-облада», в припеве которой массовке было позволено прихлопывать в такт. Реакция Гули на гитариста оказалась благожелательной, но для Игоря не опасной.

Домик прогрелся только к утру. Лестница на мансарду располагалась снаружи — чтобы подняться наверх, нужно было выйти на улицу. Ничего, если я здесь? Гуля присела прямо у крыльца, в землю ударила упругая струйка. Между прочим, я сказала ей, что ты мой любовник! Застеснялась и ляпнула! Клево?!

В комнате волосы задевали о потолок, Гуле — в самый раз. На кровати были свалены старые одеяла. В углу светилась оранжевая спираль зеркального рефлектора. Гуля дурчилась: здесь ми будем дьелат свой пьяный лубоф? Она засмеялась, подставила губы: закрой глаза и целуй! Смотри, что она мне дала! Раскрыла ладошку — на ней лежали два белых квадратика с розовой надписью «изделие № 2».

«Дюймовочка» на потоке была одна, и неудивительно, что довольно скоро к Игорю прилипло прозвище Крот. Он переживал, когда Гуля им пользовалась. На бдениях комсомольского комитета (Гуля собирала взносы, Игорь отвечал за спорт), сосредоточенно изрисовав блокнот сложными геометрическими орнаментами, она могла вдруг стукнуть кулачком по столу, вскочить и без всякого повода и приглашения

разразиться пламенной речью — бессмысленной, но виртуозно взбитой на советских штампах. И все были вынуждены ее слушать и кивать. Зачем ты это делаешь? — искренне удивлялся Игорь. Хулиганю, Кротик! Но ведь блеск, скажи?! Гуля улыбалась, глядя снизу вверх (на четвертом курсе мы узнали, что ее идеальный прикус называется ортогнатическим), и медленно, не отводя взгляда, проводила языком по губам. Что в переводе на русский означало: «хочу тебя». Желание обижаться на «Кротика» скоростножисто рассасывалось.

Целый год — ее дача в Пионерской, где нужно было прятаться от домработницы, генеральские палаты на «Соколе» с назойливым, оравшим под дверь котом, ключи на три часа от квартир приятелей. На худой конец выручала непригодная для любви крикливая солдатская койка на Волкова — ложе родителей находилось под защитой табу. А потом умерла мама.

Окна генеральского дома вспыхивали одно за другим. Улица наполнялась звуками: прогрохотал трамвай, потом еще один, на повороте с треском рассыпал искры троллейбус. Крест на потолке растворился, окно выцвело, одиночные шипения шин и рокоты моторов слились в пульсирующий несмолкаемый гул. Допотопный черный телефонный аппарат, запараллеленный с Бетиним, по-прежнему стоял на табуретке рядом с диваном. Отец по телефону никогда не прощался — бросал трубку внезапно. Приходилось перезванивать. Вместо отца нередко трубку брала Надя: чего тебе? Тогда бросал трубку Игорь. Вчера, когда Надя, щелкая собачкой, грузно навалилась на дверь и через плечо исподлобья сверкнула белками, в неуютные секунды сцепивших-